

0 Conceptus

(Концепция, квинтэссенция)

Он ел водоросли уже два дня.

На берегу снова подобрал длинные зелено-бордовые листья. Спешно откусывал, жевал, старался не приноживаться. Но обоняние все равно передавало в мозг легкую плесневелость, пористую замшелость — так пахла крышка от банки с огуречным маринадом.

Соль и соль.

Часом раньше он утолял жажду — высасывал влагу из красных, обильно растущих на Севере ягод, шкурку отправлял обратно на землю. А рот жаждал твердой пищи. Теперь челюсти приятно сжимались над жесткими волокнистыми листьями северной ламинарии — на основательном стебле трофейного букета множились широкие плоские отростки. В сыром виде, конечно, не ароматный салат из морской капусты, но есть можно.

Он сел в безветренное место, откуда мог любоваться на пылающий яркий круг, на море, которое без препятствий, без осколков суши, перетекало за горизонт.

Соль и солнце. Третий день без людей.

И где-то там, на незаселенном полуострове, осталась беспутная, покинутая им Элли.

Волны бились о низкие скалы — словно скулы с четкими гранями его пластичных скульптур, — отходили

назад, ритмично повторяли свой танец вечности. Хвосты и плавники мелькали на горизонте. Да, он знал, вечно можно: смотреть на дикую воду и китов; мять, формировать глину; трогать фигуры глазурью и огнем. Любить отчаянные в своей красоте виды, масштабы, ощущения.

Только скуп человеческий язык, думал он, если я попытаюсь объяснить остроту, красоту момента на ста диалектах, все равно ничего не добьюсь. Скупы и его человеческие руки. Только и могут касаться, рвать, гладить. Общаться так с миром. Но пока от порванных ран лишены главного — возможности ваять.

Впереди закровило соленое, цитрусовое солнце.

Он ощупывал основание растения — таллом — проводил пальцем по склизким граням, по побелевшему от скопления солей телу. Он его не убивал, нет. Природа делала все сама: выбрасывала отмершие или оторвавшиеся из-за волн, подводных течений водоросли — органы моря. А листья бесшумно танцевали в озерцах и ванночках, образованных отливом. Здесь, на конце земли — ведь дальше лишь дикое, неприрученное море и Северный Ледовитый океан, — нужно было изменить законы тяготения. Тогда листья взмывали бы на ветру, листья стремились бы к небу.

После такой концентрации соли он до смерти захотел пить. До смерти засолить себя, чтобы затянулись раны на руках, чтобы перестал ныть желудок. Он оставил рюкзак и немного походил налегке, пытаясь отыскать хоть каплю жидкости.

Пресная вода блестела, еле видимой пленкой выступала на черной горе, спускалась и рассеивалась где-то

выше. Если бы он лизнул каменную влагу, вкус горечи вошел бы по пищеводу в желудок. Он раздумывал, не поискать ли где-нибудь воду или немедленно припасть к скале языком. Отправился к ягодной поляне, с которой уже съел голубику и чернику, оставив плоды, пригодные лишь для высасывания сока.

Боковое зрение снова уловило оранжевый хвост хищницы-лисицы. Она — а может, их несколько — преследовала его весь путь. Если судить по офлайн-карте, он пересек за сегодня несколько ручьев и либо их не нашел, либо они пересохли из-за высоких температур. Север!

Он стянул верхние тактические и белые косметические перчатки, взглянул на тыльную сторону ладони, задел, хотя давал себе обещание их не трогать, не лелеять надежду на то, что коросты спадут, а под ними покажется, нет, не бутон, а нежная, новая, не кровящая мякоть дермы.

На его руках тоже расцветала экземная карта местности, она корками и нарывами показывала мягкую и твердую почву, застывая хаотично, болезненно. И если земле приходилось так же страдать при формировании верхнего слоя, то сейчас Степа бы мог ей сильно посочувствовать.

Пока он двигался — бежал? — рассуждал про свою экземную тектонику. Каждые несколько часов подходил к морю, смачивал кисти, пластилиновые самозастывающие обрубки, читал не молитву — перечислял этапы работы с глиной. Ведь если трогать материал руками не получается, надо хотя бы прикасаться языком к словам.

Соль и кожа.

Органы чувств любили играть в такие игры.

Днем он щупал такие знакомые трещины — словно глиняные щеки — на скалах и на собственных руках, задерживался на острых краях, думал, как же можно принять их, слабости, несовершенства, гордо стоять перед штормами и бурями, постепенно разрушаться, но не сгибаться, не падать замертво. Глина же, хоть и была гибче, так не могла, да и люди, да и он тоже. Они все были слишком хрупки.

Ах, Элли, Элли...

Ягоды немного облегчили жажду, и Степа разбил лагерь под горой, приготовился лечь пораньше. Жаль, нельзя ставить палатку близко к берегу, на крошащиеся графитовые породы. Водная масса или ветер слизнут его и отнесут в глубины, где нет ни муфельной печки, ни зуда, ни боли. Да и спать жестко, а после того, как он потерял подвижность, иннервацию пальцев, кожа на теле стала чувствительнее.

Ничего. Завтра до обеда он дойдет до Берега рыжих камней и военной базы, где протекает широкий ручей. Где-нибудь добудет воду. А там разберется, как вернуться домой. Только бы его не расстреляли на месте.

Шутки шутками, закутывался он в спальник, а разобратся бы с питанием, и можно обжиться. Обнаженная, бесстыдная телесность природы остро отдавалась по всему телу: буграми и камнями, острыми ветками, мягкими пружинистыми ягодами, мошкой в конце концов.

Но ему это нравилось. Всем приходилось меняться, подстраиваться, выдумывать формулы обмена. И здесь лепщик отдавался природе, пока она, природа, позволяла ему просто быть.

Странно, подумал он, я современный человек, пусть и немного помешанный, прожил столько лет в бетоне города, а хочу запереться в сарае на берегу речки, озера, пруда, моря, играть на дудочке и лепить отзеркаленные от воды кувшины, спускать их в воду, и чтобы вокруг только птицы, звери, деревья. Но тогда придется забыть о женщинах (пусть даже и не о ком уже забывать). Только печь и руки, глиняные люди, которых нужно будет вылепить самому, по образу и подобию...

А все-таки как воодушевляюще звучит.

Или устроиться на последнем этаже небоскреба, осязать, вдыхать энергию города, под инди-рок ходить за молоком в соседний магазин, в кроссовках, специально заляпанных грязью, потому что только брендовая, выверенная грязь имеет право на существование.

Желудок снова заныл, подталкивал к питательным воспоминаниям. Скучал ли он по индустриальным ароматам, по индустриальной телесности, по текстуре самых обычных предметов? И да и нет. Вспоминал, как погружал кисти, как кисти сами погружались в масло, по одному пальцу — раз-два-пять, и задерживались, постепенно передавая тепло, забирая ощущения, разбавляя, распаяя плотский жир и жар. Белая эмалированная кастрюля обхватывала конечности, задавала границы.

Перевод продуктов, стыд, стыдоба; войны и голода на тебя не хватает, сказала бы мать. Эксперимент, не мысленный, не теоретический, живой, ответил бы он. Научный интерес. Хлеб скульптора. Фантазии. Скука. Масляная масса. Смазка для пальцев. Препграда между слизистой рта и симпатической нервной системой.

Подтаявшая бутербродная основа. Подбавить бы на подушечки кожного сала. Облизать. Другой рукой положить сверху сыр. Прикусить, но без хлеба. Вечное баловство, игра, дактилоскопия смыслов, рисунки, которые режущий предмет оставляет на желтеньком брикете: арки, петли, завитки.

И история человека — как стек-петля боли, с рисунком хаотичных завитков. Двигайся. Ведь как иначе можно наделить что-то смыслом, перевернуть тоску. А там, под ней, найти загадку, разгадку, смерть.

Соль и страсть.

Соль и глину, глину. Глину...

С рассветом Степа поднялся, быстро собрался в живой, как он надеялся, путь. Взлохмаченное солнце размазывало перед глазами мутное марево, рисовало красные электрические круги, но ноги шагали бодро, несли уставшее, однако не измотанное тело. Он дошел до ворот из колючей проволоки, потрогал табличку, запрещающую вход на территорию военных, и протиснулся в проход.

Цокнул пленкой, образовавшейся на пересохшем языке. И еще быстрее зашагал вверх, стараясь не смотреть на оставленную по обе стороны от тропинки технику, но глаза улавливали старые вагончики и ржавые грузовики. Соль не щадила никого: ни его пальцы, ни горы железа.

— Эй! — раздалось спереди и сбоку, с нескольких сторон.

Он повернулся и поднял руки вверх: вот, Северный Русал, я и приплыл.

1 Fictura

(Первичная лепка)

Год назад Степа вдруг почувствовал, что мир — или он сам, или они оба — неизменно меняется.

Обычно реальность колыхалась где-то около, но касаться его опасалась, обходила вскользь, полубоком, обдавала парфюмом, ароматом шампуня для роста самосознания. Видеть — он ее видел, или ему казалось, что видит, что стоит только захотеть, стоит только отбросить свое напускное, игрушечное, за эти годы уже, наверное, тысячетонное, и вот она предстанет перед ним.

Но может, так выглядел счастливый морок, спадавший сейчас кусками и крошками, как бы он его ни удерживал.

Он так же, как и семнадцать прошлых лет, делал фигурки и боццетто, глиняные эскизы скульптур, часами и днями, согнувшись, копался в материале, но теперь тело, как неповоротливая, неподатливая масса, реагировало иначе: отнимались затекшие ноги, локти, стреляла спина. Реальность взялась за аргументы, которые он уже не мог игнорировать.

Поздней весной вовсю воняла радость. А он размышлял, тонул в чужом любопытстве, прохаживаясь по проспектам и каналам. Одиночество действительно умело накапливаться, настаиваться, опадать мутной взвесью?

Собственного мира ему становилось мало, и, чтобы не треснуть, он отправлялся на долгие прогулки во все стороны по округности, садился на электрички, выходил на разных станциях, гулял, трогал то, что можно, воображал, что трогает то, что нельзя: морщинистую кожу на шее старушки, жирноватые, маслянистые, невозможно толстые волосы парня в черном, небо над головой, бликующее сквозь мутный пластик станционного козырька.

Хлоп, шлеп, ш-ших по шарик у в руке заплаканной девочки — не лопнул! — и бежать по рельсам наутек.

Не помогало.

Он съездил к морю, пожил во влажно-плесневелой комнате недалеко от Новороссийска, попинал песок, полепил из этого состава: мелкозернистая масса, детские памперсы, женские трусики, чересчур маленькие, севшие на пару размеров, сломанные совочки, которые рано или поздно унесет в море, прямо в желудок дельфинам (которые поплывут вдаль, но никогда не смогут скрыться от погони катеров и смартфонного зума).

Снимал в голове сцены, водил в воздухе пальцами, как безумный пианист, вот только он делал зарубку в памяти, закладку, чтобы гораздо позже, в прохладе своего полусонного Питера, достать эти воспоминания и воплотить в глиняном объеме.

Познакомиться с кем-нибудь, провести безобидную курортную ночь так и не вышло. Как только он представлял, что девушку или женщину надо звать в кафе, угощать, спрашивать о жизни, его охватывала физическая немощь. Он садился у моря, чувствовал, как мышцы конечностей, шеи, даже ягодиц разжимались, атрофировались, еще больше подминая песок. Знал,

ощущал — не из-за женщин, нет. Что-то менялось. Время? Менялось, подталкивало и его, а он не успевал.

Он больше не мог быть один, но и не хотел быть с кем-то. Он боялся превратиться в человека, у которого после смерти в постели найдут куклу — глиняного идола — в натуральную величину.

А мама только усугубляла эти мысли.

Даже в редких телефонных разговорах она давила своими представлениями и установками о нормальной жизни мужчины средних лет. Степа терпел, но не выдерживал. Каких таких средних лет? Он даже еще не начал понимать себя.

После ссоры или неприятной размолвки мама долго, до полугода, не выходила на связь, а когда он поздравлял с праздниками (и отправлял деньги в подарок), отвечала сухо. Но постепенно начинала что-то нейтральное спрашивать в ответ. Еще немного выжидала — и звонила раз в неделю, рассказывала свои и соседские, пестрящие оттенками белого и черного нижевартовские новости. Несмотря на вспыльчивость, она действовала планомерно, умела ждать, была закалена бытовым нестигаемым сплавом житейского опыта, традиций и человеческой природы.

Степа успокаивался, терял бдительность, и вот она снова заводила разговор о нормальных человеческих желаниях. Дождаться внуков, например. Говорить об очередях в садик, о том, кто будет забирать из школы, об усталости после работы и сжатого во времени и пространстве транспорта, о дороговизне продуктов и маленькой зарплате. О звездах шоу-бизнеса и долларах, в конце-то концов. Жаловалась, что хочет скинуть груз с шеи.

— Мам, я не груз, я не живу с тобой уже семнадцать лет.

— У людей за эти годы гулянки, свадьбы, разводы, в конце концов, дети уже усаые ходят. А у тебя не меняется ничего. Обрюхатил бы кого-нибудь и мне младенца отдал, тебе что, жалко, что ли. Чем ты вообще занят?

Он обводил взглядом квартиру, заставленную одинокими скульптурами и большими полуготовыми сценами из кино: «Властелин колец», «Триста спартанцев», «Затойчи». В углу, на фоне белой частично расписанной им стены, оборудованное место, инструменты — стеки, штихели, бульки, каркасы, кувшин с водой, контейнеры и множество привычных мелочей, за которые уже не цеплялся взгляд. Что ей ответить?

Мама убеждала в трубку:

— Научись разговаривать с людьми, Степаш. От тебя шарахаются, но ты не урод, странненький, но не страшный. Я не только как мать твоя говорю. Пальцы длинные, как у пианиста, только бледные слишком. Но начистоту, пальцы для девушки — это не главное. Нищebroды никому не нужны, без денег мужчина никто, не мужчина.

«Даже тебе?» — хотел он спросить, но решал быстрее пройти этап допроса.

— М-м-м.

— Разве тебе девушки не хочется?

— Есть у меня девушки.

— Живые, живые!

— Я не дикий, мам. Умею заказывать еду и вещи на дом, гуглить что угодно, слежу за трендами в искусстве, хожу в музеи и на выставки.

— Пфф, насмешил! С этим любая обезьяна справится. Даже моя свекровушка. Опять заходила сегодня крови попить, правда, уже не та, что раньше-то, почти не орала, зудела под ухом, даже пряники принесла, чтобы мне, видать, не так печально стареть было. Она еще в тридцать мне про закат жизни говорила, стыдила, что у меня и поклонники имеются, а она всю жизнь одна.

— М-м-м.

— Тебе тридцать пять, а ни образования, ни жилья своего, ни семьи, — продолжала сетовать она. — Если бы я на тебя не давила, ты и школы бы не окончил. Эгоист, вот ты кто! А такой был хороший мальчик, Степаш, красивенький.

Она считает, что я поломанный предмет, думал он, или просто инфантильный дурак? Снова не выдерживал:

— Я доволен своей жизнью, все разного хотят, что с того?

— А ты мне ненормальность того самого не обещаешь! У меня, между прочим, много и своих желаний. А тут еще за вас переживать... А знаешь что? — Молчала, пока не раздавался вздох из его динамика. — Ты на вечер «Кому за тридцать» сходи, вдруг повезет. Сам вот и узнай, где проводятся.

— Сейчас иначе знакомятся.

— И как? Ну, как же? — злилась мама, переходя на скрипуче-визжащий тон. — Если ты все бобылем ходишь.

И Степа взрывался.

Он погуглил, кто такой бобыль: одинокий крестьянин без земли, лентяй, батрак, бессемейный человек.

И все это мама примеряла к нему. Станный, однако, способ мотивации.

Ему попадались советы из интернета, как и где познакомиться, построить серьезные отношения, завести семью, кошку, детей. Пикап давно вышел из моды, подкаты на улице протухли, как и лица работающих людей, которые вечно оббегали Степу, вздыхая от мягкости его размеренных шагов.

Умение общаться, флиртовать, даже слегка, вскользь, по касательной нравиться девушкам как-то проскальзывало мимо. Зачем изображать невесть кого, перебрасываться лишними словами и долго ходить вокруг да около, если можно признаться в симпатии, показать, даже если пока не чувствуешь, страсть. Но в разговоре, на свидании, он иногда забывал сделать даже это, засмотревшись на трепещущий нос, разрез глаз с двумя морщинками, на вдавленную грудную клетку, к которой по бокам неловко прилепили две большие, словно взятые у великанши, груди. В природе такое существо не могло бы двигаться. Это, ясное дело, завораживало.

— Можно я вылеплю твою грудь? — Он мог не удержаться, коснуться материала, с которым хотел бы поработать.

— Мужиковатое хамло. Сразу бы и сказал, что только секс нужен.

— Мне нужно разное.

Но Степа не понимал что.

Он был безнадежно испорчен. Эгоист, объективирующий тело. Патологоанатом мышечной глиняной массы.

Иногда, впрочем, получалось кого-то позвать домой, прикоснуться, кого-то лепить. Но девушки обычно не дожидались окончания работы, сидели в телефоне, дулись, что-то там скроллили, пока он хмурился и вздыхал по загубленной линии, когда-то обещавшей быть носогубной складкой.

Он не лежал пластом у их ног, не заказывал еду, не поил коктейлями, он мыслил физическими образами тела. Но даже тело он хотел иначе, чем они призывали, — познавать, воссоздавать, не брать с безумием нежности или сиюминутной жадой. Извращенная страсть его устремлялась в массу.

Он воспринимал мир через «трогание». И не раз уже размышлял, что нужно учиться загружать в себя разные интересы, может, и не одновременно, а с возможностью быстрого переключения, но работа захватывала его целиком. Он даже забывал отвечать, реагировать, а иногда и не слышал тело-болванку, которое сам же расположил напротив. И еле удерживал в себе слова: «Закрой рот, так не получается изобразить остроту скулы».

В такие моменты он не общался и тем более не мог заинтересоваться чьим-либо внутренним миром. Плотоядно посматривал и строил параноидальные планы. Мечтал: взять бы женское, разобрать — по частям, органам, складкам и теням — и лепить, закреплять, выворачивая так и эдак. И потом попытаться собрать назад с неминуемой погрешностью в результате. С невозможностью добавить нужный ингредиент — душу, разум. Идеальная партия или госпожа Франкенштейн? Никто не даст ему открытое до глубины, до душевного мяса, нутро. Но он сможет воссоздать его сам.

После рас-творения он был готов переходить к действиям, но девушки скучали, не выдерживали конкуренции с глиняным изделием.

— Извращенец!

Любая аддикция, как вещал в соцсетях дядечка-психолог, — это болезнь, если она занимает в жизни человека главную роль, аддикция вытесняет остальные желания и ростки способностей, и человек рассматривает жизнь через призму своей богини — зависимости.

«А что, это надо вылепить», — задумывался Степа. Не одно, так другое. Ничего пока не помогало. Он улавливал смыслы, смотрел ролики, как и все, слушал разговоры в магазинах и на улицах, летними ночами бродил по тусовочным местам, учился понимать язык разгоряченных тел.

Ведь любовная игра тоже в какой-то мере происходит между оживленными скульптурами, но вот кем они оживлены, чем? Он никак понять не мог. Не одним же половым влечением, нет. Он знал, что не разгадает эту загадку, все человечество, философы, писатели, физики и химики пытались — и не смогли. И он не сможет.

Знал, но не понимал.

Он смотрел на свои руки, пальцы и на то, что скрыто за верхним слоем соединительной ткани, изучал этот инструмент, где-то даже материал, свой главный ресурс, а может, даже и смысл. Разглядывал под лупой эпидермис: роговой, гиалиновый, зернистый и шиповатый слой, пытался если не досмотреться, то нафантазировать глубокую базальную мембрану. А сковырнешь немного надкожицы — и дойдешь до кровеносных сосудов, сальных желез, нервных

окончаний. Делают ли руки-нервы человека человеком, раз никто из животных не создает что-то ради искусства?

Вены, голубоватые прожилки, горизонтальные полосы, сгибы на пальцах; как часто на них смотрят остальные? Линии на ладони, как скрещивающиеся мечи, человеческие перекрестки, а теперь уже как поезда, самолеты, дроны — признаки современного общества. Что из этого лепит, что помогает создавать, творят мои руки или творит душа, выпрашивал он, но и не предполагал, у кого, да и можно ли ждать ответ.

Где-то в том же мире жили другие парни, которых окружали подруги, любовницы, жены, бывшие однокурсницы и возлюбленные чуть ли не с детсадовского возраста. Те мужики сражали своим обаянием, энергетикой, напором, возможно, искренним интересом к людям. Любопытством страсти? Не только, не столько же деньгами.

Иногда Степа проходил мимо новообразованной пары, подслушивал несколько слов из разговора, всматривался в язык тела, старался угадать, кто кому больше нравится. Мужчины, бывало, говорили размеренно, подбирая слова, стараясь произвести впечатление, и тогда Степа понимал, что они готовы сразу вести девушку в постель, а вот по вялому, натужному разговору видел, что ее хотят бегом проводить до ближайшей станции метро.

Он обсуждал эти наблюдения с хорошим знакомым.

— Да, бро, иногда такая шляпа случается, жаль, че, но не нравится мне девочка, так а я ни себя, ни других насиловать не привык, — шутил Тима, парень

непонятного возраста, от двадцати пяти до сорока, который настойчиво одевался в белое и планомерно забивался тату.

Несколько месяцев назад Степа нашел ближайший к дому художественный магазинчик с приличными ценами на материалы, с третьего или четвертого посещения разговорился с владельцем. Как-то он в порыве одиночества сидел дольше обычного и внезапно, посередине беседы, поделился:

— Хочу вылепить идеальные женские органы, совершенные мужские органы, но идеальности не существует.

Парень грустно, сочувственно похлопал его по руке и ничего не сказал. Такая реакция Степе понравилась. Он, наконец, спросил его имя. И стал заглядывать почаще.

В основном помещении Тима продавал товары для хобби и творчества, а в соседнем закутке делал рамки, багеты и фото на документы. Когда Степа приходил за новой массой, парень усаживал его на кресло, наливал пуэр, показывал новые рисунки на теле — у каждого своя страсть, — рассказывал про клиентов, и нередко про женщин.

— Вот она говорит: хочу с тобой куда-то поехать, на море, ногами вперед лежать, загорать, голыми языками трепать в номере типа. А я работаю. Истерит. Мучиться, если не мазохистка, говорю, со мной не надо. Я, вот он я, как на ладони. Че могу, сделаю, а выше головы прыгать и не хочу, и так счастлив... а-а, ты ж не видел, вон я новый бэушный термопресс купил, да и еще приглядел пару штук на «Авито», буду футболки печатать.

— Нормально идет? — Степа не знал, в какой момент общения уместно спрашивать про работу и деньги, и интересовался мельком, кратко.

— Полиграфия, конечно, не в тех объемах, да мне и не нужно. Типографии для людей позакрывались, а помнишь времена, когда у каждого встречного была визитка, а нынче это нечастая, дорогая тема, копир там всякий эт, конечно, он есть, но много денег не поднимешь. А я подбираю такие заказы, нишевую тему ловлю. Пусть треш, но вот капец хочется людям кружку с любимой бабушкой. Смейся не смейся, что моветон, а-аха-ха, да ладн тебе, так-то и посмеяться, чувак, полезно.

Тиме со всем и всеми было легко. В нем свободно двигалась — перетекала из одной комнаты в другую — энергия, и клиенты это чувствовали, хотели подключиться, подзарядиться от бесплатного, раскрашенного пауэрбанка.

В прошлый раз Степа показал Тиме много своих работ. Он неделю потратил на генеральную уборку в мастерской, перебрал стеллажи, снял много фигурок и предметов на белом фоне (для портфолио и CV), и ему хотелось разделить с кем-то результат. Тем более Тима с увлечением разглядывал, а не просто на секунду поднимал глаза, по-настоящему интересовался его идеями и воплощениями.

— Вот это ты монстр, — сказал он, увеличивая изображение на экране телефона. — Про себя не говорю, но на курсе у нас многие бы плюнули, даже пытаться не стали. С такой мелкой лепкой я тоже не любил возиться. А ты просто монстр, бро.

Семнадцать лет, подметил про себя Степа, семнадцать лет я держу в руках глину.

— Дай еще посмотреть. Вот блин! Вспомнил одного чувака, корейского художника, одно время дико хотел попасть на его массовые рисования, да все по деньгам не получалось. Не знаешь его, Ким Джун Ги? Это легенда в мире иллюстрации! Представь, огромный белый холст, и он с какого-то угла, с глаза персонажа на десятом плане начинает выводить многомерную картинку. Ваще. Он делал это без подготовки, на опыте, насмотренности, на одержимости. И когда у него спрашивали, болен ли он или обладает капец какой памятью, он смеялся и говорил, что просто рисует в голове, трогает глазами, для него это все естественная потребность, как дышать. Рисовал чел по двенадцать-пятнадцать часов в сутки.

Звучало очень близко Степе.

— А еще он обожал обнаженку, ходил в общественную баню изучать тела, даже альбом выпустил, там отменная эротика, а он говорил: «Я это рисую, потому что это есть», вот че сказать, сила в простоте.

— И не возразить, о-о-о, — смеялся Степа, уже листая изображения в сети.

А сейчас, как только он вошел в магазин, Тима окликнул из закутка:

— О, Степан, вот ты вовремя.

Тима и худощавый взрослый мужчина в очках стояли у большого стола, где обычно приятель упаковывал товары или нарезал тираж, и отсматривали чьи-то эскизы и наброски.

— Вынимай свои штуки, знаю, у тебя много в телефоне. Для дела надо. Знакомься, это мой бывший

препод из художки. Миш Сергеич, это наш скромняга, но вы ему не верьте, чувак дома маньячит не по-тихому.

Степа молча показал фото и видео. Мужчина сначала смотрел нехотя, без ожиданий увидеть что-то хорошее и уже приготовил сочувственное, но твердое выражение лица для отказа или нелестной оценки. Но потом цепко взял телефон, приблизил несколько работ, поразглядывал, попросил:

— Расскажите о себе... Ах, вот как, Степа, давай прямо сейчас к вам и сходим, покажете мне свою мастерскую. Мне в студию нужен помощник.

Степа ни о чем не спрашивал, показывал дорогу, разглядывал собеседника. Они шли близко, почти касаясь друг друга плечами, вокруг шумел и грохотал город, а в нем затихали ожидания. Михаил Сергеевич с какой-то даже нежностью дергал, поправлял узел на шее, который называл галстуком. Ему было лет шестьдесят или больше, но круглые очки скрывали морщины у глаз, бородка очерчивала бодрый, еще моложавый овал, а густейшие брови, как у скульптора Никогосяна, задавали основательный тон всему лицу. Он преподавал в университете и частным образом любил горящие наивностью глаза, как он говорил, а не студенческую мертвечину. Беседу вел размеренно, но Степе все равно казалось, что преподаватель болтал без продыху.

— Гений на гении и гением погоняет. И техника никакая, и идей еще нет, а есть лишь вера и гонор, какой у них гонор, мой дорогой. Думают, поналепят нечто несуразное, назовут как-то хитро, да на латыни, непременно на латыни, куда там. А потом одно-два

видео выложат и разбогатеют. Микрокредиты свои отдадут, квартиру снимут, а не хостел или что там сейчас, девушку найдут, в ресторан сводят, не в забегаловку, да и на такси. Даже не знаю, что и сказать тут. Если бы, если!

— А вы что?

— Не верят мне. Спрашивают, в чем успех. В труде и удаче, хочется сказать, да я и говорю, но как они морщатся, как морщатся. Понятно, не все будут пластикой или скульптурой заниматься, это удовольствие дорогое: формовка, отлив из материала, металла там, гипса, кому что нравится. Но художник должен понимать объем, чтобы воплощать его на холстах, настоящий художник должен уметь лепить.

— Нам сюда.

— Неплохой дом, знаешь. Я ко всему готов: и по подвалам ходил, да и дальше бы ходил, но там оказался пустышка-парень, глиномес без вкуса и воображения. Как знаешь, есть писатели, которым лишь бы букочки выписывать, выпечатывать, графоманы...

Степа сморщился — преподаватель больно двинул ногой по его главному страху.

— М-м-м. Значит, вы уже разочаровались?

— В себе?

— Нет.

— В искусстве? Эх, милый, если ты о себе, а не обо мне, то тебе еще рано, ты ж так, не учился в заведениях, а это сначала в художку с десяти лет походи, потом в Академию художеств еще лет пять и приготовься к труду, труду, труду, к поиску своего голоса, стиля, чувства, как хочешь назови. Буст тебе нужен, социальный лифт, богатая пожилая леди, любовница

олигарха, не знаю, с кем уж сведет судьба. Скорее всего, ни с кем. Но свои десять-двадцать-тридцать тысяч касаний нужно отработать, придется уж точно. А там смотреть, может, ты непропиаренный талант или графоман лепки, лепкоман, хо-хо.

Преподаватель остановился, пока Степа открывал дверь. Не дрожал, но ключи зажимал с избыточной силой.

— Как хорошо, что ты без амбиций, дорогой. Это кажется только унижительным, а работать в удовольствие и жить без долгов — та еще приятность. Так что готовься через годок-другой, ну в сорок, искать себе другую работу. Начинать сызнова. Быть престарелым юнцом.

— Я переживу.

Нет, Степу пугало другое. Он был разочарован недостаточностью касаний, ему уже не хватало нервных клеток на огрубевших пальцах. А если однажды он не сможет лепить?

Десять тысяч касаний, перед тем как творческий ноль станет профессионалом, перед тем как появится опыт, но еще пару раз по десять — и может пропасть чувствительность, износиться орган. Новые пальцы на деревьях не растут. Старые хоть и старые, но свои. И если срезать верхний слой кожи, все равно они повторят тот же отпечаток. Потому что все, что важно пальцам для внешнего вида линий, минуций, микроузор, — это время формирования гребня, а для тактильности — сосочковые и сетчатые слои, нервные волокна, инкапсулированные окончания — тельца Мейснера и...

— Пропади оно пропадом! Ах, этот замок все заедает.

Михаил Сергеевич снял обувь, прошелся по квартире, надолго замер у стеллажей и сушильного шкафа, повертел в руках фигурки, не без благостного отращения на лице:

— Это и это неплохая вещицы. Здесь нужно подправить анатомию, съехало лицо, а так все очень даже недурственно. О, молодец, большой пласт, без трещин, и, чтобы не потянуло, нужно постараться. Своя печь! Знаешь, сомнительно, но... Ты еще долго продержался, потому как жены, они же этого не терпят, если и без денег тем более. А у тебя вот оно как.

— Наверное. — Степа опустил ключи в карман.

— Итак. Мне нужен специалист по глине, проводить мастер-классы в студии. Групповые и индивидуальные, ничего сложного, лепить за них не надо.

Раньше Степа бы плюнул, что любительские мастер-классы — групповые оргии дилетантства, разбавленные романтикой и вином. Пятничные развлечения для одиноких девочек. Но Михаил Сергеевич не иронизировал.

— Им очень нравится, хоть и не все получается. Ведь что создано мною, ближе ко мне, как говорится. И вот парадокс: их единственное смазанное и смятое ценнее, чем наша тысячная совершенная поделка. Приходи завтра, все покажу. Пешком далековато, конечно, но тебе разве важно.

Степа кивнул. Минут через десять, когда они пили чай с кокосовым печеньем, Михаил Сергеевич протянул:

— Я даже немного завидую тебе, ну и им, дорогой. Чем позже начинаешь жить, тем позже

разочаровываешься. Привилегия — побыть ребенком под родительским крылом. Начать с восемнадцати, а не с трех. (Степа подумал про невозможную сейчас маму, хотя в детстве же она его любила, сварливо, в своем стиле, но любила.) Радоваться самым простым мазкам, первой обожженной, раскрашенной кружке, подносу с пугающими рытвинами по краям. Такому нежному, необязательному и в этом обаятельному. Не в этом ли искусство? Я-то всегда знал, кем буду, шел классическим путем — и вот теперь где я. Где.

Преподаватель встал, развел руками на последнем слове, тяжело вздохнул.

— Эх, не знаю, надо ли было жениться, — по-мальчишески сказал он, пожал Степе руку и схватился за ручку двери.

На следующий день Михаил Сергеевич радушно приветствовал помощника, рассказывал про работу, нюансы взаимодействия с клиентами (здороваться, быть вежливым, уступчивым, но помогать, чтобы получился хороший результат). Качал головой, усмехался:

— Повтори... Схватываешь на лету. И как ты в студию какую-нибудь не устроился, надо же. Затворник, боялся, небось, чтобы какая-нибудь девица не сцапала, детей зеленоглазых, вихрастых не родила. Генетика у тебя хорошая, каждый волос как дерево вон в корнях сидит, а руки, руки! Милая Мила, дорогая моя, ты только посмотри.

Девушка-администратор смеялась, цепляя прядку волос за крупные металлические серьги. Она сидела на диване, с ноутбуком на коленях, но печатала что-то

на телефоне, ни разу, пока Степа здесь находился, не опустив его на велюровую обивку.

— Что сейчас делать? — Степа отряхнул фирменный черный фартук.

— Практика, практика и только практика, — хитро цокнул Михаил Сергеевич. — Учись контактировать с людьми, полезный навык, знаешь ли. Сейчас молодые люди придут, посмотришь, поассистируешь, а пока давай подготовим место на десять гостей. И за собой не забывай убирать, глина любит чистоту и порядок, а не уследишь чуток, всякую гадость, крошек там хватает, ну и куда ее, только в мусор.

Степа отрешенно кивнул, почему-то представил, что речь шла не о глине, а о нем самом. Он перешел в странное состояние полузабытья, когда некоторые крупные предметы — любимые, но не родные печки, ряды стеллажей, небо, заточенное в раму окна, — и даже люди, вот, к примеру, Мила, кажутся то нерезальными, то звеняще четкими, высокоразрешенными, словно их пропустили через улучшающую изображение нейросеть.

Он что-то делал руками на столе, подмел пол, приготовил массу, еще раз и второй оправил фартук и вдруг снова включился.

— Пока будешь со мной, — болтал наставник, доставая из печи чью-то чашку-земляничку. — Учись, может, дальше одного поставлю, ты способный, но способный лепить, мой дорогой, а не учить, вернее, мы пока не знаем, как ты учишь, как ты будешь направлять людей. Тонкое искусство — понять, что же человек в своей голове надумал, чего хочет, и помочь сделать это, пользуясь только его неумелыми руками.

Видишь, не только выставки важны, мой дорогой. Давай, не крути носом.

— М-м-м.

Степа не стал менять выражение лица, хотел поскорее закончить разговоры и приступить к лепке, потом одернул себя, напомнил, ради чего здесь.

Неожиданно он засмотрелся на родинку Милы прямо над бровью и подошел к ней поближе. Она заерзала и два раза заправила неугомонную прядку за уши. Если ты смотришь, по-настоящему смотришь, пришла ему мысль, то в каждом теле увидишь свои особенности, и свое уродство, и свою красоту. Проблема в том, что его интерес — режущий, профессиональный, как у патологоанатома, смущающий, и люди — и женщины — легко это считают.

Мила дернулась правой стороной лица, улыбнулась, дернулась еще раз, но уже всем телом. Серебро в ушах прозвенело кусочек популярной композиции, кажется Вивальди. Послышалось.

— У тебя фартук развязался.

Он не отрывал от нее взгляд, наклонил голову, думал. А может, для своих целей ему как раз и нужно использовать профессиональных женщин? Тех, которые не имеют чести, чувств, которые не смущаются.

Группа молодых людей оказалась девочками и мальчиками из пятого класса. Они не без крика сопровождающей учительницы распределились по местам, пререкаясь кто с кем сидит, показывая друг другу короткие, дребезжащие звуками видео. На вопрос помолодевшего, перевоплотившегося Михаила Сергеевича, кого будем лепить, кто в моде на этой неделе, школьники завопили, повернув к нему экраны

телефонов с картинками жутковатых персонажей. Преподаватель заговорил на другом языке.

Занятие с ребятами получилось шумным, задорным, но не отталкивающим. Они с удовольствием отвлекались на все подряд, и Михаил Сергеевич бойким веселым сленговым окриком возвращал их к процессу, но сами работы поправлял мягко. Он чувствовал или считывал по глазам мольбу о помощи, аккуратно подходил, делал пару линий стеком или выравнивал форму, но сам в творение не вмешивался. Одна тихая девочка с любопытством поглядывала на гончарный круг, и мастер разрешил ей попробовать.

Одноклассники вокруг загалдели, и уставшая, кружившая за головами подростков учительница грозно предупредила, что времени мало, нужно доделать своих монстров, потому что больше часов не оплачено и никто задерживаться ради них не будет. Преподаватель деликатно ее приобнял, подвел к дивану:

— Прошу, прошу выпить чаю. Мила, налей, пожалуйста, там и конфетки где-то имеются. Вы же не откажетесь от трюфеля?

После того как довольная толпа детей и чуть менее удрученная учительница ушли, все какое-то время наслаждались потусторонней тишиной. Степа молча убирал ошметки и остатки глины, Михаил Сергеевич, снова став собой, пил кофе и листал винтажный советский каталог фарфорового завода.

— Нравятся мне подростки, — постепенно начал он. — Я так лучше внуков начинаю понимать, язык их, вот эти мартышкины повадки вспоминаю, вечную чечотку детства. Потом уже застыдят их, придавят, пусть